

Преступление русской литературы.

I. ОБЛИЧЕНА РОЗАНОВА.

Мы привыкли восторгаться духовной силой русской литературы и гордиться ее нравственной мощью. Но, вот, — она оказывается виноватой в гибели родины, которая ее создала. В этом обвиняет ее Розанов. Не мелкота ее виновата, но ее фанатизм и гущица, а вся она, ее богатыри, ее творцы, ее подвижники. О них говорит Розанов в «Апокалипсисе нашего времени» злое и положительное слово. Слово это, верно, запомнится: не потому, что в нем правда, а потому, что в нем сила. Однако, если в злом поношении не известна всей правды, то все-таки какаждо частичная правда есть и в ожесточенном Розанова.

«Что во сущности произошло? — спрашивает он: — Мы все шалили... Мы во сущности играли в литературу. «Ты хорошо написал». И все дбло было в том, что «хорошо написал», а что «написал», до этого никому дбла не было». Именно того «учительного слова», которое, по общему признанию, было слабостью русской литературы, не заслужить в ней Розанов. Когда то «Возмечуть не карьеру сдблать на том, что первоисточник русской литературы написал в Евангелии. Теперь русский писатель объявляет: «По содержанию литература русская есть такая мерзость, — такая мерзость безстыдства и наглости, как ни одна единая литература. В больном царствъ съ большой остротой, при народѣ трудолюбивомъ, смирительномъ, покорномъ, — что она сдблала? Она не выучила и не внушила выучить, — чтобы злом народъ хотя научили слыть, выковать, серъ исполнить, косу для косябы сдблать... Народъ росъ исключительно первобытно съ Петра Великаго, а литература занималась только, «как они любили» и «о чемъ разговаривали». И всѣ «разговаривали», и только «разговаривали», и только «любили» и «как они любили».

Такъ обвиняет Розанов. Хотя он и говоритъ, что выходяще, что он другой, что безстыдства и наглости русской литературы (безстыдникъ Тургеневъ, на-

шый Меховъ...), учили мерзости, а онъ, блаженный и честный В. В. Розановъ, училъ высокому. Какое заблуждение! Въдъ молодости Розанова — тѣ самые идеалы, которые онъ видитъ въ русской литературѣ, и достоинство его — именно то, что онъ отвергаетъ, какъ мерзость въ русской литературѣ. Все дбла было в томъ, что «хорошо написалъ», а что «написалъ» — до этого никому дбла не было». Но спросите любителей Розанова, что ихъ в немъ привлекаетъ. Въ основѣ тоже окажется не истина, а эстетика: давностью девять изъ ста лѣтъ: «да, часто пишеть мерзость, но хорошо пишеть». У него есть единомышленниковъ, да и какъ быть единомышленникомъ того, кто принципиально не имѣетъ «единой мысли»? Поэтому у него все «поклонная талант». Въдъ вотъ и мамъ приходится разграничивать о Розановѣ и по поводу Тургенева не потому, чтобы онъ раскрылъ нечто до него неизвѣстное, провозгласить по-прежнему новую мысль, а только потому, что онъ сказалъ извѣстное сильно и зло, съ тѣмъ волнующемъ извращениемъ, съ тѣмъ безобразнымъ преувеличениемъ, съ тѣмъ безобразнымъ преувеличениемъ, которое дается только дарованиемъ. И если русская литература действительно виновата в томъ, что, уча своему героизму, не учила чувству самолюбивой ответственности, что разлагая «общую совѣсть», умбля вызывая лишь вулканическіе ея всплшки, а не рождая ей горькіе, то кто же меньше Розанова можетъ похвалиться этимъ чувствомъ ответственности? Онъ, писатель, съ самымъ дблѣмъ, «не знающій, черезъ е писаное слово нравственность или чертъ ли», могъ-ли кого либо, не разговаривая а примѣромъ научить этому жизненному правописанию, этому правому писанию в правой жизни? Говорить о Розановѣ, значитъ прсаде всего уличать его въ неправдѣ; эта неправда даже не въ исключенной большой безнравственности — она чаще отъ большой, а иногда и отъ малой недобросовѣстности, иногда просто отъ душевной дбли. Хочется уличить Розанова — изображая, обличая, осуждая, статуратурныхъ противниковъ — а

фактовъ нѣтъ, собирать трудно, есть какіе-то неопредѣленные ощущенія, подозрѣнія, возжелднія: Розановъ возьметъ и обратитъ ихъ въ факты — цитату сочинить и въ ковычки для вѣрности заключить, скажетъ: «это было», тогда какъ на самомъ дблѣ «этого» именно не было. Напримеръ: со всей убѣжденностью и строгостью прокурора, онъ спрашиваетъ: почему «миллионеръ» Герценъ «ничего не уступилъ» (то есть ничѣмъ не помогъ) Бѣлинскому, — и дблаетъ изъ этого выводъ: «это какой-то «страшный судъ» всѣхъ пролетарскихъ доктринъ». А смертельно больной Бѣлинскій пишеть женѣ (12. VI, 1846), что на путешествие для поправки здоровья рѣшился исключительно въ надеждѣ «не занять у когонибудь, а взять у друзей денегъ. И я не ошибся въ моей надеждѣ: Герценъ предложилъ мнѣ денегъ. Объ отдачѣ ихъ ему я и думать не намѣренъ». И такое письмо не единственное.

Напоминаю объ этомъ не для того, чтобы уличить Розанова: не время теперь для уличенія, никому оно не интересно, и до души Розанова не дойдетъ. У него есть громадная сила неуязвимости: что вы можете сказать дурного о человѣкѣ, который постоянно самъ о себѣ говоритъ самое дурное, самое злое, изъ всего, въ чемъ можно обличить его. Горень этой неуязвимости въ цинизмѣ, въ безграничной откровенности, хетъ иногда и хитреникахъ, но все-таки безстыдство обнажающихъ признаній.

Какъ въ этомъ презрѣнн къ себѣ, такъ и въ этомъ презрѣнн къ фактамъ — есть и сила и слабость. Легче созлавать стройнѣе — и иногда, разсудку вопреку, убѣдительно — остроенія, не считающъ съ действительностью. Иногда эта противестественность сходитъ съ рукъ и даже окрыляетъ, но чаще естество жестоко мститъ за себя и поправный здравый смыслъ сурово напоминаетъ о действительности. Такъ и еще въ одномъ случаѣ. Столь же дивно и столь же основательно, какъ Герцена, Розановъ обвиняетъ Глѣба Успенскаго, обвиняетъ въ томъ же приблизительно, въ чемъ теперь обвиняетъ уже всю русскую литературу. Именно по поводу Глѣба Успенскаго, онъ говоритъ, что «соцраль-трудолюбивы никакъ не вошли въ русскую литературу. На самомъ дблѣ труда-то она и не описываетъ, а только «молчаливо» разсуждаетъ о трудѣ».

Какой злой духъ подкасалъ Розанова?

бу имя Гл. Успенскаго? Ну, взяли-бы кого-нибудь другого, хоть менѣ известнаго. Въдъ именно Гл. Успенскій многократно описывалъ трудъ съ величайшимъ упоениемъ и захватомъ, восхищался его поэзіей, входилъ въ его прозу — ту прозу труда, которой требуетъ Розанов. Въдъ глава въ очеркахъ «Крестьянинъ и крестьянскій трудъ» такъ и называется: «Поэзія земледѣльческаго труда» — и какъ восторженно говоритъ здѣсь Гл. Успенскій объ «Урожаѣ» Колюцова: «Сколько тутъ розато радости, любви, вниманія, и къ чему? Къ гумну, къ колосу, къ травкѣ, къ клячѣ». Великолѣпно у самого Успенскаго изображеніе красоты умнаго, дѣятельнаго, производительнаго труда — индивидуальнаго (въ «Миропитѣ») или коллективнаго («Рабочія руки»). Какъ восторженно писалъ Успенскій о «трудолюбии» Бондарева, о пичтожной книжкѣ Тимошенкова и только потому, что въ послѣдней написанъ «изображеніе образцовой крестьянской семьи, достигнушей трудами рукъ своихъ полнѣйшаго благополучія».

Да, нехорошо отворачиваться отъ того, что действительно есть и было; не хорошо забывать свои слова и мысли. Теперь у Розанова и Толстой есть органическая, неотторжимая частица этой безстыдной и нагло русской литературы, мерзкой потому, что она не внушала трудиться. А въ годъ смерти Толстого, когда надо было преклоняться предъ Толстымъ и явиться Успенскаго, Розановъ писалъ, что «великое исключеніе представляетъ собою Толстой, который отнесся съ уважениемъ къ семьѣ, къ трудящемуся человеку, къ отцамъ. Это впервые и единственно въ русской литературѣ, безъ подражаній и продолженій». Теперь же, оказывается, и Толстой — примѣръ того, что мы ничего не умбемъ: «А вотъ, видите ли — издѣвается теперь Розановъ: — мы умбемъ любить, какъ Вронскій Анну», и больше ничего не умбемъ...

Опять: не къ тому это говорится, чтобы изловить Розанова на противорѣчіяхъ. Слишкомъ легко это и безцѣльно, если имѣть въ виду Розанова. Но къ его сей разъ правда, и потому надо о нихъ сказать, что эту правду надо нащупать и опредѣлить ее мѣсто. Объ этой правдѣ и объ этой неправдѣ, о великой винѣ русской литературы и великой ее немощности — въ слѣдующій разъ.